

УДК 111 : 930. 1

**А.С. Табачков****ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОШЛОГО И ОБЩЕСТВО**

*Рассматривается проблематика взаимовлияния динамики общественного развития и процессов исторического познания. При этом автор исходит из следующей гипотезы: толкование прошлого невозможно отнести лишь к сфере деятельности организованных институтов получения и трансляции исторического знания, эта деятельность интегрирована в сам контекст культурного процесса, движимого конфликтом унаследованного и вновь приобретенного.*

*Ключевые слова: интерпретация прошлого, история, общество, объективность исторического знания.*

Явное внимание любого общества к толкованию его истории, на практике реализующееся в различных формах контроля сферы производства исторического знания, объясняется, в частности, тем обстоятельством, что дискурсивно представленное прошлое всегда потенциально опасно для социума, причем опасны, по-видимому, не только нигилистические модели отношения к прошлому, но и попытки его апологетической реставрации, неизбежно ведущие либо к стагнации, либо – при определенных, способствующих этому сопутствующих обстоятельствах – даже к вторжению воинствующей арханки.

В этих обстоятельствах для субъекта производства социально-гуманитарного знания сама его конкретная ситуация, непосредственный контекст принятия решений определяются не только методологическим кредо или заранее установленными критериями приемлемого результата, но и другими факторами, более универсальными и в гораздо меньшей степени поддающимися контролю со стороны инкорпорирующей его структуры производства знания или механизмов политической власти, такими, как личные предпочтения, характер эстетического и морального суждений, и другими подобными продуктами индивидуального культурного опыта. Влияние подобных факторов на автора интерпретации более значимо, чем влияние структур контроля разного уровня, которые в принципе вообще могут быть обойдены, что и случается в определенных социополитических ситуациях, особенно тогда, когда существует острая потребность в новых истолкованиях прошлого.

Важным в данном контексте представляется также и вопрос о влиянии универсальных этических норм культуры на ситуацию интерпретирования прошлого. Очевидно, что это влияние напрямую зависит от предполагаемой значимости интерпретации конкретного события для текущей социокультурной ситуации, от ее возможного положения в иерархии признанных значимыми элементов актуальной истории, а также от ее конгруэнтности той сложившейся совокупности идеологически и этнически обусловленных кон-

структов, которая даже в обществах западного типа жестко определяет границы этически приемлемого обращения с прошлым.

И хотя такой аспект, как ответственность и этические нормы, безусловно, важен для столь общезначимой практики, как интерпретирование прошлого, любой его корректный анализ обязательно должен учитывать следующее: этический смысл интерпретации исторического события как поступка может быть понят только в соотнесении его с функцией автора в бытии культуры. Очевидно, что это требует обращения к принципам уже онтологического плана. При использовании процессуальной или метатеоретической модели репрезентации бытия, а это значит, в данном случае, вне искусственной сепарации на событие и его «нематериальный» информационный эффект, создатель, к примеру исторического дискурса, оперирует в столь же значимом пространстве реальности, что и персонажи прошлого – объекты его анализа. Такие поистине демиургические потенции предполагают и соответствующую меру ответственности.

Но этические критерии прямо применимы лишь на этапах существования интерпретации как авторского текста. Интерпретации прошлого, задействованные в текущих социокультурных построениях и актуальных мифо- и идеологемах, являются в значительной степени деиндивидуализированной общественной собственностью. Эта коллективная собственность служит цели выживания и сохранения целостности социума, и как таковая, она безлична. По своей сути и уровню организации совокупность подобных интерпретаций является подсистемой социокультурного целого, к которой неприменимы этические критерии, служащие для оценки дискурсивных результатов индивидуального творческого акта.

В свете вышесказанного несколько по-иному начинает выглядеть и проблематика объективности: применительно к практикам общекультурного значения, таким, как интерпретирование прошлого, она, безусловно, имеет, помимо эпистемологической, еще и важную гуманитарно-этическую составляющую. Опровержение несостоятельных исторических концепций не является поэтому делом исключительно академическим: защита культурного пространства от недобросовестных интерпретаций прошлого, основывающаяся на их критическом анализе, видится как важнейшая (и имеющая, в том числе, выраженную этическую компоненту) задача всех, в том числе и действующих вне институализированных независимых структур производства и распространения знания интеллектуальных сил. Объектами, против которых, в первую очередь, следует концентрировать эти усилия, должны стать толкования прошлого, откровенно нарушающие современные критерии морали, недобросовестные в прямом значении этого слова: нельзя ведь, к примеру, апологетически интерпретировать деяния какого-либо тирана – зная о его жертвах – и оставаться при этом в границах этически приемлемой парадигмы. При этом идеальным результатом, к которому стоит стремиться, абсолютной сверхзадачей можно, по-видимому, считать то, что М. Хайдеггер формулировал как «непрерывный процесс правды как истории» (цит. по [1. P. 22]) (здесь и далее перевод мой. – А. Т.).

Поскольку современная культура существует в ситуации чрезвычайно мощных информационных потоков, любой новый дискурс, в том числе и новая интерпретация (реинтерпретация) прошлого, может при определенном развитии ситуации получить весьма широкое распространение и оказать значительное влияние на аудиторию. Это обстоятельство придает неожиданную актуальность проблеме контроля автора над его дискурсом, давно ставшей в литературной критике «общим местом». В области интерпретации исторического этот контроль к тому же усложнен ограничением степени творческой свободы (произвола) автора, налагаемым фактическим базисом.

Репрезентация целостной картины исторического события, особенно события, продолжающего быть значимым фактором социополитической динамики, сопряжена с определенным риском непрогнозируемого результата. Такой дискурс неизбежно содержит аспекты, избыточные относительно того, что полагается автором в качестве его смыслового ядра; это последнее в подобных случаях подвергается опасности не предусмотренной автором модификации посредством собственного контекста.

Современное общество, в котором возможности манипуляции сознанием масс очень велики, остро нуждается в выработке универсальной совокупности этических, гносеологических и, возможно, эстетических критериев, своего рода иммунного комплекса, который служил бы противовесом антигуманным и научно несостоятельным нарративам, в том числе и тем, что нередко конструируются и тиражируются аффилированными с властью структурами. Настоятельная необходимость подобных усилий вполне очевидна еще и потому, что в культурных пространствах современных западных социумов до сих пор сохраняются «забытые» части символических машин контроля прошлых эпох, которые продолжают влиять на общую ситуацию. При этом наряду с относительно безобидными реликтами присутствуют фрагменты особенно прочных и агрессивных машин военной пропаганды, которые все еще способны к весьма парадоксальному взаимодействию с новым. Демонтаж этого наследия может, думается, привести к важным качественным изменениям в социокультурной динамике.

Интерпретация прошлого, будучи важной частью процессов познания, является одновременно и социокультурной практикой, а для подобных практик характерна трансформация критерия объективности в более сложный и недоступный для процедур формальной верификации критерий справедливости. Объективность как бескорыстный интерес поэтому необходимо дополняется и в какой-то степени даже вытесняется здесь бинарной интенцией справедливости, образуемой, во-первых, стремлением не совершить несправедливость посредством неправильного истолкования поступков людей прошлого, уже не могущих прямо оппонировать, и, во-вторых, обычной духовной предрасположенностью таковую справедливость восстановить – путем реинтерпретации того или иного исторического события.

Следует, однако, иметь в виду, что к интерпретации прошлого, как и к другим значимым практикам современной культуры, неприменим созданный на основе тех или иных метафизических представлений и претендующий на универсальность критерий справедливости, причем попытки выра-

ботки подобного критерия на догматической основе, будь то версии марксизма или христианской доктрины, выглядят просто опасными.

Общей для всей совокупности интерпретаций прошлого может быть лишь базовая интенция справедливости. Заметим, что этот принцип построения дискурса нужно всегда строго отделять от маскирующей под него демагогии. По-видимому, только интенция справедливости и может быть в современных условиях универсальным критерием, не ведущим к обедняющей гомогенизации всей практики интерпретации исторического прошлого.

Еще один немаловажный и принципиальный для понимания функций и статуса интерпретации прошлого в культуре вопрос может быть сформулирован следующим образом: можем ли мы отнести ее к совокупности культурно-значимых актов или присутствующее в интерпретации событие прошлого необходимо занимает слишком много пространства возможного, слишком сильно обуславливает действия интерпретирующего? Обладает ли интерпретация прошлого достаточным потенциалом свободы для реализации себя по типу полноценного культурно-значимого акта?

Чтобы ответить на это, нужно, думается, в первую очередь обратить внимание на результат истолкования прошлого. Созданная и не отторгнутая культурным контекстом интерпретация необратимо вовлекается в семиотические процессы, быстро превращается в полноценный и самостоятельный элемент их глобальной динамики и вследствие этого начинает поддерживаться характерной для знаковых систем референциальной связью. С онтологической точки зрения ее вполне обоснованно можно считать «неприродным сущим нового типа» [2. С. 137]. Понятно, что сама процедура получения этого нового сущего должна и в гносеологической плоскости быть вполне автономной.

Сама роль, которая отводится историческому дискурсу в культуре современного социума, вообще возможна только потому, что прошлое не есть константа, это качественно эволюционирующий участник общей динамики. Эту эволюцию прошлого нельзя, как делал это Дж. Мид, объяснять, исходя только из ситуационных потребностей настоящего. Прошлое есть нечто большее, чем просто материал, которым ремонтируется континуум настоящего, нарушенный «экстренным событием» (цит. по [3. Р. 53]), оно часть основоустройства бытия, а не просто деталь прагматического инструментария.

Явная недостаточность подобных подходов вполне очевидна, но то, что предлагалось в качестве радикальной альтернативы им и было нацелено на превосходение субъектно-объектной структуры, оказывалось на деле во многих случаях всего лишь избегающей сущности проблемы игрой с цитатами из текстов модерна или приспособлением под нужды другого контекста конструкций, позаимствованных из прикладных наук.

До этого момента из нашего анализа следовало, что, по крайней мере, судя по характеру ее воздействия на социокультурную динамику, интерпретацию прошлого можно считать культурно-значимым актом. Однако это обстоятельство – при всей его важности – не позволяет просто приравнять

прошлое к другим предметам-поводам культурной работы и отнести его, таким образом, к сфере поизиса. Обоснованное суждение об этом невозможно без прояснения проблематики содержания и соотношения нового и уже имеющегося. В принципе динамику старого и нового можно трансформировать в оппозицию творчества и охранения, как делает это Г. Фаден (*G. Faden*), и тогда интерпретацию в силу, несомненно, характерной для нее «особой близости к вещи» [4. С. 66] можно трактовать даже как реализацию в практике культуры их диалектического взаимоперехода. Но при этом следует иметь в виду, что вполне имеет право на существование и такой ход мысли: а не является ли интерпретация исторического всего лишь вторичной, обусловленной другими, более значимыми процессами процедурой? Не является ли она всего-навсего базирующейся на структуре известных фактов циркуляции рефлексивных усилий, некоей вспомогательной, «физиологической» подсистемой культуры, не имеющей самостоятельной роли в ее эволюции?

Вполне понятно, что непосредственная работа по поиску новых фактов прошлого, неизвестных вообще или не попадавших до этого в поле внимания и бывших поэтому вне текущей ситуации культуры, относится к тому, что К. Поппер называл «историей в узком смысле слова» [5. Р. 39], и способна непосредственно приводить к возникновению актуального нового. Однако это новое никогда не поступает в свободное обращение культуры так, как оно есть, в своем необработанном фактическом состоянии, оно предварительно интерпретируется. «Количество» привносимого смысла и степень контекстуализации почти всегда очень велики: вспомним хотя бы, как репрезентируются результаты (предварительно, разумеется, интерпретированные в соответствии с научными предпочтениями конкретных исследователей) археологических открытий. При этом часто весьма бедный фактический материал инициирует рождение крупного нарратива, построенного на самом деле на основе гипотез, импонирующих авторам открытия, а отнюдь не на найденных артефактах как таковых. К тому же находят ведь – и не только в археологических исследованиях – обычно только то, что ищут, неожиданность и сама новизна фактического достаточно спорны.

Здесь, конечно, следует иметь в виду, что в отличие от мира идеальной диалектики реальная культура, в которой и имеет место интерпретация прошлого, не является панлогической структурой. Так, Ю. Вулфенштайн писал, что «даже более открытые версии диалектического мышления... [стремятся] навязать историческому процессу некие направления и структуру, каковы бы они просто может и не иметь» [6. Р. 10]. Исторические события, в том числе и самые значимые, сложились из деяний людей, совершаемых ими по преимуществу в неистинности того состояния и той ситуации, которое М. Хайдеггер называл *das Man*. Они, эти деяния, чаще всего не закончены сущностно, не являются духовно-завершенными актами. Мы имеем здесь дело с потенциальным, с тем, что еще требует для своей культурной реализации и последующей интеграции в опыт человечества деятельного участия интерпретирующего. Унаследованное существует не само по себе, но для унасле-

довавших; история, как она существует в культуре, это вся совокупность усилий «сохранить былое как фактор грядущего» [7. С. 253].

Нужно также иметь в виду, что задача интерпретирования прошлого является в значительной мере культурно-антропологической в своей сути. Имея дело с действиями людей, исследователь, а также знакомящиеся с результатами его работы становятся причастными к процессам формирования человека в его главном качестве – деятельного культурного индивидуума. Пониманием этой причастности вызвано и упоминавшееся нами ранее стремление к справедливости, вообще наличие в деятельности по интерпретации прошлого (и в критике таковой) неизбежных для культурно-значимой практики этических моментов. Интерпретация прошлого – важная и крайне ответственная культурная работа, каждый акт интерпретации требует «определять самое себя для произведения» [8. С. 133], это адаптивная, по самому своему типу, культурная практика. Она необходимо включает в себя момент осуществляемого интерпретатором посредством себя, сквозь призму своей идентичности, конкретного взаимодействия различного. П. Рикёр полагал, что при этом имеет место преодоление дистанции между минувшей культурной эпохой и самим интерпретатором [9. С. 25] (хотя нужно признать, что его тезисы выглядят ослабленными и несколько вторичными в сравнении с положениями, высказанными Р. Коллингвудом в его «Идее истории»).

Истолкование прошлого – это в том числе и консолидация унаследованного опыта, а также перевод его в форму доступного для использования культурными индивидами и ассоциациями материала. Это, в хайдеггеровской терминологии, часть заботы о бытии, причем часть весьма важная. Но эта забота не должна пониматься как некая консервация, как отказ от творческого взаимодействия с минувшим. Ограничение критики прошлого, принятие неких событий в качестве абсолютного аксиологического максимума дорого обошлись многим культурам.

Следует сказать, что значительные деформации исторического обычно связаны со случаями массированного использования интерпретаций тех или иных событий в политических целях. При этом последующие попытки преодоления унаследованных целенаправленных искажений оборачиваются, как правило, еще большей деформацией культурного образа прошлого, почти неизбежно сопровождающейся моральной дезориентацией и политической радикализацией. В интересующей нас области социального знания в таких ситуациях имеет место, как правило, тяжелый методологический кризис, при котором обычное для нормального состояния знания противостояние школ и направлений в значительной степени вытесняется фракционной борьбой уже скорее политического толка. В такие периоды продукты индустрии социально-гуманитарного знания, в том числе и интерпретации прошлого, зачастую утрачивают всякую научность. Способствуют такой негативной метаморфозе также аномальное расширение целевой аудитории текстов и вовлечение их самих и их авторов в примитивные квазитеоретические дискуссии. Не менее характерны для подобных кризисных ситуаций также резкое изменение в направленности и в самом этосе критики, утрата ею позитивных и конструктивных начал, ее чрезмерная политизация. Вполне очевидно, что в та-

кие моменты ответственное и творческое отношение к прошлому оказывается в противоречии с господствующей социокультурной доминантой.

В условиях современного западного общества влияние социокультурной и этической доминант хорошо заметно там, где свобода интерпретации прошлого явно ограничена совокупностью никогда непосредственно не артикулируемых конвенций-запретов, порожденных тем или иным историческим казусом. В отличие попыток прямого контроля со стороны политической власти, не столь уж и мощного ныне фактора, эти запреты, опирающиеся на стереотипы массового сознания, являются тоталитарными по своей сути и весьма эффективными. Ситуация усложняется еще и тем, что общественное мнение не является некой естественной данностью: в современном так называемом информационном социуме это во многом результат долговременных, более или менее продуманных усилий власти.

В сфере того знания, производство и распространение которого прямо или косвенно связаны с заказом власти, влияние этих особенностей современного социума проявляется достаточно непосредственно, причем данная специфическая разновидность знания о прошлом представлена здесь, прежде всего, адаптированными историческими доктринами. Их функции в подобных дискурсах весьма сходны с функциями настоящих теорий и даже целых направлений, существующих в «большом», неинструментальном знании. Они точно так же участвуют в организации и структурировании общего курса, причем в логико-символическом плане их можно отнести к классу универсальных конститутивов, или, в терминах Ч. Пирса, «интерпретантов» (цит. по [10. Р. 443]). Однако несмотря на это функциональное подобие, они все-таки остаются элементами другой, вторичной, по своей сути, динамики.

Интерпретации прошлого, создающиеся для применения в этой сфере, должны наряду с другими качествами обладать способностью к интеграции с уже сложившимися представлениями и убеждениями. Поскольку в массовом сознании подчас сосуществуют весьма противоречивые и даже взаимоисключающие элементы, эта интеграция, по-видимому, происходит не столько на смысловом, сколько на стилистическом и (или) эстетическом уровнях. Социальные дисциплины вообще сильнее связаны с эстетикой, чем любая другая область институализированного знания, кроме, разумеется, специальных дисциплин. Эта тенденция всегда присутствовала в самой старой из них, в истории, так или иначе имевшей и продолжающей иметь дело с эстетикой поступка.

Наиболее ярко это проявляется в героике публичной истории: популярный у литературоведов тезис А. Шопенгауэра о «равнозначности с действительными лицами» [11. С. 423] литературных персонажей на самом деле косвенно свидетельствует о степени эстетизации образов значимых личностей прошлого и их поступков. Контекст, в котором литературные герои воспринимаются как сущностно реальные, подготовлен отчасти самой исторической практикой и в особенности инструментальным, идеологически мотивированным использованием истории.

Нужно отметить, что проблема различения инструментального и подлинно теоретического в рассматриваемой нами области знания является, на

наш взгляд, весьма сложной. Как уже отмечалось ранее, участие того или иного дискурса в конкретных практиках не может служить основанием считать его сущностно нетеоретическим. Критерии, базирующиеся на мотивации исследователя или степени его независимости, мало применимы в условиях институализированного производства знания. Критерий содержания предполагает решение проблемы принадлежности того или иного текста к классу теоретических дискурсов. Эта принадлежность определяется обычно как соответствие определенным терминологическим и логико-методологическим стандартам, однако стилизации и отсутствие у большинства понятий в этой области знания фиксированных объемов и регламентирующей традиции применения делают и этот подход достаточно спорным. К тому же никакой ясно обозначенной границы между двумя этими видами дискурсов не существует, различие ситуационно и во многом субъективно – имея в виду значимость личной позиции оценивающего.

Приведенные выше соображения свидетельствуют в пользу тезиса об интегральном характере институализированного социально-гуманитарного знания. Будучи по своей сути подсистемой общества, ответственной за его целостность и аутентичность, оно не может анализироваться без учета общей социокультурной динамики. Интерпретация прошлого, будучи одной из главных задач этой подсистемы, диалектически связана с общей динамикой общества, которая формирует контекст и определяет характер актов интерпретации и которая сама, в свою очередь, подвержена влиянию возникающих в этих актах дискурсов.

Следует, однако, заметить, что эти особенности не могут служить предпосылками отнесения интерпретации к некому второсортному способу понимания. Весьма значимо, что периодическое возвращение к подобным трактовкам происходит, как правило, вслед за характерными для данной области знания методологическими колебаниями между конструктивизмом – в разных его формах – и эстетизацией. Казавшаяся еще Ницше наивной вера в то, что за сферой интерпретаций культуры находится область более достоверного, первоизданного прошлого, оказалась весьма стойкой.

Периодическое усиление этих тенденций во многом связано, по видимому, с продолжающимся и иногда весьма парадоксальным по своему характеру воздействием структурализма; отсюда, по всей вероятности, берет начало и недоверие к исследователю как к агенту знания, к его интуиции, да и к разуму вообще, который в этой парадигме часто вообще не считается «универсальным механизмом, придающим прозрачность исследуемой реальности» [12. С. 175]. В подобном контексте могущий показаться даже банальным тезис Дж. Серля «социальные науки движимы разумом» [13. Р. 84] обретает полную актуальность, а в моменты особого усиления вышеописанных тенденций радикальная простота этого и некоторых других подобных тезисов становится весьма действенным средством возвращения дискуссии на более твердую почву.

В реальном противоречии с нашим видением места и роли интерпретации в формировании современной специфики этой сферы познания находятся также и некоторые достаточно популярные ныне стратегии сепарации со-

циокультурного на некие «подпространства». Лежащий в основе этих стратегий тезис о том, что одним из способов задания социальной онтологии «является использование квазипространственных метафор» [14. С. 3], представляется достаточно спорным. Дело не только в подразумеваемой произвольности онтологического плана, но и в том, что такие концепты, как «социетальное подпространство» [14. С. 7], предусматривают, по крайней мере в указанной трактовке, радикальное разделение социального и культурного, что кажется неприемлемым: такая стратегия делает само определение знания как социально-гуманитарного достаточно бессмысленным.

Представляется, что теоретический и метатеоретический уровни должны, применительно к познанию феноменов социокультурной реальности, строиться с учетом принципа адекватности, исключающего создание таких условий развития дискурса, при которых вынужденно нарушалась бы изначальная целостность объектов – предметов исследования. Отказ от интенции фиксации мира в жестких монистских структурах является, по нашему мнению, существенным моментом подлинно современной, т.е., как минимум, открытой и не авторитарной культуры мышления.

#### *Литература*

1. *Richardson W.* Heidegger. Through phenomenology to thought. The Hague, 1962. 215 p.
2. *Левинас Э.* Время и другой. СПб.: В. Р.-Ф. Ш., 1998. 244 с.
3. *Joas H.* Pragmatism and social theory. Chicago : University of Chicago press, 1993. 224 p.
4. *Faden G.* Der Sein der Kunst: zu Heidegger Kritik der Aesthetik. Wurzburg, 1986. 217 S.
5. *Popper K.* The poverty of historicism. N. Y.: Harper and Row, 1964. 166 p.
6. *Wolfenstein E.* Psychoanalytic-Marxism. Groundwork. New York; London: The Guilford Press, 1993. 468 p.
7. *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. 527 с.
8. *Кант И.* Критика практического разума. СПб.: Наука, 1995. 528 с.
9. *Рикёр П.* Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Academia – Центр «Медиум», 1995. 415 с.
10. *Jakobson R.* Language in literature. Cambridge, Massachusetts; London, England: The Belknap press of Harvard U. P. sixth printing, 1996. 548 p.
11. *Шопенгауэр А.* Основные идеи эстетики. Избранные произведения. М.: Просвещение, 1992. С. 413–474.
12. *Счастливец Р.* Как думают историки // Вопросы философии. 2003. № 6. С. 175–176.
13. *Searle J.* Minds, brains and science. Cambridge; Massachusetts: Harvard U. P. eleventh printing, 1997. 101 p.
14. *Розов Н.* Структура социальной онтологии: по пути к синтезу макроисторических парадигм // Вопросы философии. 1999. № 2. С. 3–22.